

Родился поэт Бродский ровно за один год до начала Великой Отечественной войны и был старше Юрия Кузнецова на год. Эта пара мощных поэтов, однако, обладала различной идейной направленностью: Иосиф Бродский смотрел на Запад, а Юрий Кузнецов – на Восток.

Бродский – классический русскоязычный поэт, гражданин мира, основоположник чужестранной космополитической традиции в русской литературе. Писал на двух языках: на русском и на английском. После судебного процесса Бродский обрёл ореол поэта-мученика и фактически стал диссидентом, гордостью ленинградского литературного подполья – андеграунда. Его стихи распространялись интеллигенцией в виде машинописных копий самиздата, ходивших по рукам. Дерзость Иосифа Бродского быть официально неучтённым (непризнанным властью, нелегитимным) поэтом оказалась подсудной. Да нашла коса на камень.

По рукам ходила самиздатская стенограмма с показаниями свидетелей на суде: рабочие обязаны были оплевать классового врага – вольнодумного интеллигента. Причем, обязаны были оплевать никогда не читавшие стихов Бродского и даже не знакомые с этим очередным «врагом» (раз его шельмует пресса и судит государство) рабочие. Да и в самом деле стихотворная манера Бродского, воспринятая от Мандельштама при содействии тому Ахматовой, сложна, как китайская грамота, для пролетария, сложен душевный мир поэта. Первоначальный Бродский (еще не переименованный в зарубежного Джозефа) осмысливает своё появление на свете при ощущении зыбкости мира, при отсутствии духовных критериев. Он словно блуждает во мраке:

*Схоластика, – ты скажешь. Да, схоластика.  
И в прятки с горем бесстыдная игра.*

Налицо Кафкианское отчаяние из-за отсутствия смысла жизни, абсолютно не типичное для русской традиционной поэзии, прятки с горем, бегство в поэзию от бессмысленности земного существования, фактический атеизм. Атеистическая пустота мироощущения заполнена вычурными декорациями так, что даже иногда создаётся впечатление, будто душевная опустошённость первоначальной поэзии Бродского служит ему своеобразным магнитом: притягивает металлические крупинки счастья, но это впечатление иллюзорно. В атеистическом страдании от бессмысленности рождения человека на свет Бродский (уже американский Джозеф) идёт дальше в своих собственных поэтических ощущениях и добирается до угнетающего ощущения некоей метафизической пустоты человеческого бытия и метафизического хаоса. Бессмысленность рождения на этот безбожный свет, хаос, пустота, темнота, переживаемые изгнанником в ранней стадии иммигрантского бытия, мучительны:

*Я сижу в темноте. И она не хуже  
в комнате, чем темнота снаружи.*

Вообще значительная часть первоначального литературного творчества Бродского была создана с ощущением исторической и душевной пустоты человеческого существования, с ощущением бессмысленности жизни земной. Ощущение пустоты, давящее на сознание читателя через его поэзию, является фактическим атеизмом. Бродский хотел бы верить в высший смысл творения, в Бога, его пленяют божественные сюжеты, но никак не может поверить – не получается, и божественные сюжеты остаются иллюзией, просто декорациями. Не потому ли по причине абсолютного непонимания русского духа и русской традиции в нобелевской речи американский поэт Джозеф Бродский столь глубоко заблуждается, говоря о своём происхождении от советско-русской литературы: «Мы начинали на пустом месте»?!. На самом деле, однако, «пустого места» в отечественной литературе никогда не существовало.

Читая машинописные страницы ленинградского андеграунда, поэты легитимные недоумевали: о каком «пустом месте» идёт речь? В СССР уже прославились советские классики: Шолохов, Твардовский, Платонов, Булгаков... Перечень весьма значительных литературных фигур можно продолжить. Бродского окружал ореол борца против тоталитаризма благодаря судилищу 1964-го года, и литературный андеграунд, представлявший из себя русскоязычный интернационально-писательский коллектив, признал Бродского первым поэтом Советского Союза. Но вряд ли можно согласиться с такой оценкой,

если принять во внимание пессимизм творчества Бродского, несколько не свойственный русской поэтической традиции, препятствующий человеческому выживанию на земле. Сверхзадачу культуры оказывать человеку моральную поддержку я считаю исключительно важной для любого представителя культуры ли, искусства ли, поэзии ли, – абсолютно для любого жанра изящной художественной сферы. Что же видим у Бродского? Он, естественно, натывается на мысль о самоубийстве и пишет о самоубийственности занятий искусством, в том числе поэзией (письмо к его голландскому переводчику), то есть Бродский никак не преодолевает творческого пессимизма. Что это, как не слабость духа?!

Поэтическое творчество давало Бродскому убежище от нерешённых жизненных проблем, от давления бытия, а занятие поэзией являлось для Бродского бегством от самого себя. Но при этом границы его творческого пространства масштабны: это поэт-книжник, интеллектуал, хотя и запутавшийся в философских дебрях. В его поэзии вырисовывается образ страдальца при всамделишном отсутствии мистического мирозерцания (религиозного). Фактическое безбожие вырастает из образа страдальца, который надеется на возможное существование Бога и вечности, но на самом деле еще не доверился ни Богу, ни вечности: нет Веры. Нет ничего, кроме надежды на лучшее. Налицо тому – сюрреализм Джозефа с загнанным в тупик собственным одиночеством – мрачное мироощущение. Не спасает даже остроумие от уныния, веющего из его зарубежной поэзии каким-то могильным холодом.

Может быть, я напрасно требую от изящной словесности того, что ей, якобы, не свойственно: а именно преодоления душевной слабости, заражающей читателя, требую указания оптимистического выхода из нравственного тупика? Пессимизм, к сожалению, представляет собой сильно действующий на душевный мир людей (просто убийственный) яд. В этом отношении творческая судьба Юрия Кузнецова счастливее, несмотря на то, что его родительская семья стала жертвой сталинских политических репрессий. Но армейскому офицеру (отцу будущего поэта) хватило силы духа опротестовать клеветнические обвинения, доказать свою политическую невиновность и вызволиться из тюремных застенков. Конечно, это была редкая удача для того времени, скорее даже – исключительная, и нетипичная, но такая борьба за себя, борьба за выживание и самоутверждение Поликарпа Кузнецова впоследствии сделалась примером для его сына Юрия, и будущий поэт явил миру поэзию, постоянно преодолевающую трагизм земного существования, мужественную и героическую.

Весной 1975 года (если не 1974-го) обсуждалась публично первая в Москве книга Юрия Кузнецова «Во мне и рядом – даль», после чего я подошла к Юрию и попросила подарить мне эту книгу. Он был изумлён и подарил. Так что, собственно, творчество Юрия Кузнецова в новой советской поэзии семидесятых годов было исключительным среди заунывного пения деревенских куликов славянофильской школы. Юрий Кузнецов принадлежал к малочисленному составу так называемых русских камикадзе – идеологов художественного попроща, на котором волею судеб мы с ним и пересеклись в 1981-м году.

Был тысяча девятьсот семидесятый год, год моей ломки. Меня сразило это открытие в самом сердце увесистым ломом. Я изобразила из себя модную девицу: танцевала до упаду, меняла поклонников, куражилась, как бывает в юности, когда тебя не понимают – от обиды, и мне почти не с кем было поделиться щемящей тоской от бесправия свободно и безбоязненно говорить, писать, думать. Из рук в руки передавались машинописные самиздатовские листочки со стихами опального поэта Иосифа Бродского. Мне нравилась его любовная лирика, посвященная Марине: «Пророчество».

*Мы будем жить с тобой на берегу,  
отгородившись высоченной дамбой  
от континента, в небольшом кругу,  
сооружённом самодельной лампой.  
Я буду стар. Ты будешь молода,  
но выйдет так, как учат пионеры,  
что счёт пойдет на дни (не на года!),  
оставшиеся нам до новой эры.*

В стихах гонимого поэта чувствовалась крепкая поэтическая хватка, хотя его считали внутренним эмигрантом, чужеродным элементом в Стране Советов, да и книжность поэзии Бродского, по мнению сторонников Твардовского, являла собою литературную «вторичность» – как, впрочем, вообще всё, основанное на культуре (даже это слово – культура – веяло некоей буржуазностью для её отвергателей). Самиздатская же машинопись, ходившая по рукам, демонстрировала студентам Литературного института аккуратную ахматовскую вязь в ранней поэзии Иосифа Бродского:

*Еврейское кладбище около Ленинграда.  
Кривой забор из гнилой фанеры.  
За кривым забором лежат рядом  
Юристы, торговцы, музыканты, революционеры.*

Здесь очевидна ленинградская литературная школа с её пунктуальностью, реалистичностью, фотографическим стилем, – со влиянием Ахматовой на раннего Бродского. Поэтическое письмо Ахматовой являло собой сдержанную и немногословную манеру, Бродскому же, казалось, с каждым годом всё труднее и труднее выразить мысль лаконично, – всё мучительнее говорить коротко. С каждым годом он всё больше захлёбывался словесным потоком, – этого не было при жизни Ахматовой, которую он ассоциировал с евангельской Анной-Пророчицей («Сретенье»). Изредка до общежития Литературного института доползали слухи о приезде Бродского в Москву. После северной ссылки вид у Бродского, по слухам, был затравленный: он перспектив не видел, излагал фантастические планы насчёт бегства на Запад.

В январе 1968-го года (за четыре года до высылки) Иосиф приезжал в Москву и навещал дом специалиста по античной философии Рожанского. Москва наполнилась слухами об этом и о его визите ко вдове Мандельштама. Это была по-старомодному интеллигентная женщина. Жила Надежда Мандельштам в квартире со старинной мебелью, стены её были увешены репродукциями Модильяни. В прихожей – зеркало в фарфоровой раме, впечатлявшее визитёров. Московская интеллигенция тогда общалась намёками, боясь говорить открыто, применяла эзопов язык. Советской гостиной обыкновенно являлась кухня площадью в шесть квадратных метров. Здесь угощались, здесь обсуждали новости. Со вдовой Мандельштама Бродский тоже встречался на кухне. Его знаменитый тёзка – Осип Мандельштам – даже сочинил стихотворение о советской кухне как об убежище от страшной действительности. Если учесть обстоятельства гибели Мандельштама, то сомнений насчёт действительности не останется.

Если Юрий Кузнецов всё больше говорил мне о Блэзе Паскале, то я всё чаще говорила ему об Аристотеле. Мы спорили: кто лучше из них – Паскаль или Аристотель? Досадовали друг на друга за расхождение взглядов, но всё-таки умозаключали о том, что они разные, как разнятся, например, клён и тополь. В конце концов мы достигали взаимопонимания и мирно переходили на тему о христианской добропорядочности великороссов. Именно это качество поэтической природы привлекло меня в 1981-м году к личности Юрия Кузнецова.

В период наших творческих встреч с прогулками вдоль Филёвско-Кунцевского русла Москвы-реки Юрий говорил мне о своём интересе к духовным стихам, которыми я, правду сказать, почти не интересовалась: это было бы неестественно для моей творческой

сверхидеи. В творчестве же Юрия Кузнецова традиция народных духовных стихов была органичной. Я вспомнила об этом, наткнувшись на статью Иоанна Ладожского «Русские духовные стихи». Богослов сообщает, что этот фольклорный жанр создавался бродячими инвалидами – каликами перехожими, выступавшими перед публикой на базарах и у монастырских ворот. Иоанн Ладожский приводит образец данного поэтического жанра:

*У нас белый свет взят от Господа,  
Солнце красное – от лица Божия,  
Млад – светел месяц – от грудей Его...*

В период наших творческих встреч на Филях Юрий Кузнецов также высказывал мне свои сокровенные мысли о поэзии, провозглашал: «Поэзия есть красота». Я соглашалась с ним лишь отчасти, поскольку Николай Ушаков приучил меня ещё в моем 15-летнем возрасте понимать поэзию как изящно и красочно выраженную мудрость. Соглашаясь с моим спутником лишь отчасти, я неспешно брела с ним парковыми аллеями, распираемая любопытством к иному, чуждому мне способу мышления. Тогда же я услышала от Юрия Кузнецова о его желании воспеть какой-то абсолютно совершенный женский идеал, которого он никак не мог нигде найти. На это я высказала ему суждение о том, что мужицкие и демонстративно-азиатские манеры препятствуют Юрию найти такой женский идеал. Прекрасные дамы всегда будут шарахаться от мужика, привыкшего помыкать бабами. Кузнецов воспринял моё критическое суждение благоразумно – как дружеский совет перемениться, начать самосовершенствование своей природы в классическом ключе.

Такая простая мысль поразила Юрия, видимо, потому, что попала в резонанс с его собственными исканиями и догадками. Да ещё, мне кажется, интерес Юрия Кузнецова ко мне был спровоцирован статьей Виктора Жигунова «Заклинания при свечах» (конец 70-х годов) в «Литературной газете». Сторонний наблюдатель советской поэзии 70-х лет заметил некое мистическое сходство моего душевного мира с душевным миром тогдашнего Юрия Кузнецова, что при близком знакомстве удивило нас обоих, поскольку мы поднимались на поверхность одновременно из общежитейских недр Литературного института, враждуя друг с другом, как того требовали правила игры той поры.

После провокационной статьи в «Литгазете» мы с Юрием с естественным любопытством взглянули друг на друга иными глазами. Началось это на Блоковском празднике в Шахматове в первые дни

августа 1981 года, т.е. спустя несколько лет после нашумевшей публикации Жигунова. Юрий сам инициировал наше сближение, заметив меня, сидевшую в гордом одиночестве на траве, когда Татьяна Реброва читала свою задушевную лирику на Блоковском камне. Я ожидала конца её выступления для приятельской беседы, но вышло, что Юрий перехватил меня. По-видимому, вмешалась фортуна. Так или иначе, но нами овладело понятное любопытство друг к другу. Мне была интересна его безумная жажда риска, поскольку я сама – человек азартный.

До сего дня Ильи Пророка в Шахматове оба мы пребывали в душевном покое, но после сего дня оба лишились покоя на долгие времена. Наш творческий контакт в тот августовский период походил на горение бенгальского огня: мы искрились из-за разногласий. Это было природное единство и борьба противоположностей, стремящихся к универсальному результату. Приятно было вместе с Юрием вспомнить Рубцова, обсудить стихи Передреева, симпатизировавшего нам обоим, – т. е. найти в наших разногласиях нечто общее. Когда мы приехали из Шахматова на Фили, Юрий Кузнецов помог мне – сам вбил гвоздь в кирпичную стену (это никак не удавалось мне сделать до его появления) и повесил на гвоздь голубой гризайль – картину моего брата, изображающую обнажённую девушку со спины, которая слушает шум океана и играет на скрипке.

Когда из Шахматова автомобиль привёз нас в мой творческий кабинет на Фили, я включила стереопроектор с алмазной иглой для грампластинок и поставила воодушевляющий Пятый танец Брамса – искромётный, весёлый, поскольку нас самих удивило наше творческое сближение. Всю ночь просидели мы возле проигрывателя в литературных беседах. Такие беседы у электрического самовара являлись моим обычаем, многие знали о нём. И Валентина Мальми, и Эдуард Балашов, и Леонид Ханбеков, и Анатолий Парпара, и Ирина Шевелёва засиживались допоздна у меня за чаем, как затем Кузнецов. Помню, что мы достигли единства в оценке стихотворения Артюра Рембо «Пьяный корабль», а также творчества Данте. Юрий под утро устал и растянулся в том, в чём был одет, на шерстяном ковре, лежавшем в центре моего кабинета. Я, тоже не раздеваясь, прикорнула за шторой в будуаре. Проснувшись с птичьим пением, мы решили умыться в реке, позавтракали на речном берегу, увлечшись таким запоздалым сближением двух «врагов». Говорили об Иисусе Христе, о живописи Босха и Сальвадора Дали, о музыке Бетховена... Юрию Кузнецову было важно всё, что касалось мировой культуры. Об этом же свидетельствует и его творческое наследие.

У славянофилов, после крушения СССР превратившихся в коммуно-русофилов и сталинистов, в ситуации нынешнего хаоса остался один главный маяк: Кожинов, который заявлял неоднократно, что в студенчестве стал убеждённым сталинистом. Вольному – воля, как говорится...

Помню, как заспорили мы с Юрием Кузнецовым насчёт его тогдашнего кумира Кожинова. Мы наблюдали солнечный закат на Москве-реке. Оконтуренный светом заходящего солнца Юрий сидел на лавке под раскидистым дубом. Сгоряча я вскочила и осталась стоять в бойцовой позе – подбоченясь – напротив него.

– Почему ты безапелляционно называешь Кожинова законодателем литературной моды? – возмутилась я. – На мой взгляд, Кожинов является законодателем косности гораздо больше, чем хранителем традиционализма.

– При чем тут косность? – взорвался наконец и Кузнецов, встал, и мы не спеша двинулись по асфальтированной парковой аллее в обычной для наших августовских встреч перепалке.

– А при том, что Кожинов отвергает веяния европейской литературной моды, признавая исключительно нашу старую традицию стихосложения, – ответила я с ушаковской определённой уверенностью.

– Чем тебе не нравится добрая наша старина? – примирительно спросил Юрий и улыбнулся. Мой запал исчез. Я взяла у него сигаретку и закурила.

– Да нравится, отчего же нет? Моему сердцу всё доброе мило. Однако, литература не должна превращаться в стоячее болото, как требует твой Кожинов. Нет и всё тут!

С этой темой было покончено, и мы по своему обыкновенно молча двигались рядом вдоль крутого правого берега Москвы-реки, блиставшей внизу. Юрию непременно хотелось склонить меня в ряды убежденных кожиновцев, а мне хотелось непременно оставаться верной ушаковскому правилу золотой середины – свободной центристкой. Ради установления мира с дамой Юрий Кузнецов пошёл на жертвы: заговорил на отвлечённые темы, перекинувшись на таёжных медведей. Был когда-то в юности у него один знакомец, который промышлял на медведей – людоедов. Он рассказывал молодому тогда поэту о том, как в тайге вышел на зорьке поудить рыбу, а под речным мостом сидит громадный медвежака. Ну, посмотрели они друг на друга и разошлись мирно. Однако, бывало и по-другому. Например, на Камчатской метеостанции люди ходили в надворный туалет обязательно с ружьем из-за медвежьего соседства. Работавший в больничном морге патологоанатом приятель показывал Юрию знакомцу фотоснимки того, что он извлекал из желудков мед-



ведей: например, кисть человеческой руки с кольцом на пальце или человеческая челюсть с золотыми коронками на зубах. Когда Юрин знакомец выпивал с патологоанатомом по стакану водки, тот всегда произносил один-единственный неизменный тост: «Желаю, чтобы тебя никто не съел!»

Я засмеялась и раскрыла бамбуковый антикварный зонтик, потому что из тенистой аллеи парка мы вышли на палящее августовское солнце. Нам предстоял переход по берегу Москвы-реки до Кунцевского озера. Юрий улыбался и держал меня за левую, свободную от зонтика руку. Мне хотелось доставить ему удовольствие приятной беседой, поэтому я поведала Юрию Кузнецову подлинную историю про генерала Скобелева и его любимого попугая. Дело в том, что генерал Скобелев отличался православной набожностью, и его турецкий попугай (трофейный) поневоле вызубрил несколько скобелевских молитв, которые хозяин читал вслух. Генерал писал мемуары, разложив на рабочем столе рукопись, вздыхал о погибших в боях товарищах, крестился и молился. Однажды Скобелев позволил любимцу полетать по кабинету, а сам вышел откушать чаю. Проказник-попугай уселся на рукопись и начал клювом рвать мемуары в клочья. Внезапно вернувшийся в кабинет хозяин пришёл в ярость, содрал со стены саблю и погнался за попугаем, чтобы зарубить преступника. В ужасе генеральский любимец забился под диван и внятно, чётко завопил: «Молитвами Богородицы, Христе Боже, помилуй меня!» Так опешивший генерал сохранил преступнику жизнь.

Завершив переход по речному берегу до Кунцевских ступеней, ведущих к озеру вверх, мы стали не спеша подниматься по крутизне. Разморенный жарю Кузнецов недовольно пыхтел, карабкаясь по крутым ступенькам, по которым я скакала, как птичка, впереди него, покачивая своим голубым зонтиком туда-сюда.

– О тебе ходят слухи, – остановился Кузнецов на середине лестничного подъема, – относительно твоей девичьей легкомысленности в студенчестве и твоего теперешнего легкомысленного поведения в безбрачии. Скверные слухи! Что скажешь на это?

– Действительно, когда завистницам не хватает подлинных фактов, то вредить конкурентке помогают слухи. Разве не так?

– А если говорят мужики?

– Отомстить слухами – это единственное, что остаётся отвергнутым женихам, – отклонила я зонтик за спину, – знаешь, Юра, лицо моё всем им кажется тёмным потому, что глаза их темны! Я понимаю злословов: они сопротивляются моему индивидуализму – нельзя быть такой, какая я есть – нельзя отвергать коллективный образ су-

ществования, писательскую стадность, колхоз. Да, не люблю стадности, что поделаешь?!

– Но слухи!..

Я перебила Кузнецова:

– Личных счетов у трепачей со мною нет, Юра. Ведь я практически ничем никому не мешаю жить да и не мешала. Ну, если только досадила кому-то пустяками – это возможно. Однако, есть серьезная вина перед писательским коллективом, хотя она у меня единственная: моя обособленность от всех, мой принципиальный индивидуализм. Остальные грехи (правильно ты говоришь) есть ничто иное, как слухи. Да и судьи – кто, Юра? Тень на плетень, дезинформация инспираторов; почему это так огорчает тебя?

Кузнецов молча смотрел на меня в упор и думал. Мне ничего не оставалось, как продолжить:

– Знаешь, вот едет велосипедист по деревне, а за ним несётся со злобным лаем свора собак. Зачем велосипедисту обижаться на диких животных? Это же глупо. Следовательно, и к злословам, к трепачам, порочащим честь человека, непонятого им и не нравящегося поэту, нужно относиться с выдержкой велосипедиста, хладнокровно.

Кузнецов глухо кашлянул и мрачно спросил:

– Вот ты ведешь скрытный, обособленный образ жизни, индивидуалистка – значит. Я это могу понять. А кто из сверстников все-таки близок тебе?

– Немногие, – ответила я после паузы и начала медленно вздыматься вверх по лестнице. Кузнецов последовал за мной. – Например, я считаю своим старинным другом Александра Боброва. Мы учились с ним вместе с 1967-го года, однокурсники, потом я работала под его начальством в «Литературной России». Мне нравится порядочность Александра Боброва. Ещё я ценю в нем типично московскую интеллигентность, здравомыслие, поэтический талант, наконец. Таких, как Александр Бобров, публицистов тоже очень мало, почти нет.

Мы поднялись, запыхавшись, на последнюю ступеньку лестницы и оказались в Кунцеве. Юрий заговорил о Константине Леонтьеве, браня меня за моё невежество в этом принципиальном для славынофилов вопросе.

Когда прошло время, после внезапного моего разрыва с Юрием я занялась изучением Леонтьева. Позже, пару десятилетий спустя, мне стало понятно, что у Юрия Кузнецова отсутствовали системные знания в сфере философии, чаровавшей его. Он предпочитал обретать философские знания интуитивно – через озарения. Мне же больше подходил обычный цивилизованный способ миропознания, и я на-

слаждалась разбором философских ребусов Канта. Юрий протестовал против моего погружения в научные сферы, считая это вредным для поэзии. Он переживал за меня – это я заметила с удивлением и на какой-то миг растаяла. Мы остановились под старинной липой, взглянули друг на друга. В кустах пела птица. Солнце закатилось за горизонт. На левом берегу за колхозным полем зажглись крохотные избытые огоньки. Внизу синела река. А за нею в необозримом пространстве на горизонте, еще не упрятым за башни новостроек, чудилась вся наша Россия, которой мы оба самоотверженно служили.

В промежутке между нашими встречами в августе 1981-го года я написала по горячим следам миниатюрную поэму «Солнечное затмение» и «За что даны мне вещие глаза?» Юрий заинтересовался моим творчеством после моего прочтения вслух ему этих произведений, в которых он так и не нашёл ничего «бабьего» – отвратительного его свободной, горделивой душе. Молча переживал он изумление от знакомства с иным, непривычным внутренним миром доверившегося ему младшего существа. Он относился ко мне как к младшей, но равной союзнице по общему делу. Такое отношение к особе женского пола было внове для самого Кузнецова. Впервые он встретил женщину, в которой отсутствовало «собачье» бабское рабство – это обстоятельство пленяло и злило Юрия одновременно. В нём разгорелся азартный интерес ко мне. Меня же сокрушал безудержный кузнецовский интерес познания, как если бы я против его чугунного напора была бы изваяна из хрусталя.

Иногда кузнецовское простодушие поражало меня, как стрелой: «Мне брехали, что ты – еврейка. А я-то верил!» Ему требовалась ясная правда во всём; пересмотрев мои семейные фотографии Кузнецов закончил еврейскую тему славянофильским умозаключением: «Иудаизм несет иудеям законоуложение, а русским иудейское христианство даёт больше – благодать». Но дальше этой прописной истины кузнецовские христианские взгляды в ту брежневскую пору не продвинулись, застряв на учении Павла Флоренского. В то атеистическое время нам было ещё не до христианства. Впрочем, свой день рождения 5-го августа я привыкла с московского отрочества отмечать на утренней литургии в церкви, поэтому вторую нашу встречу на Филях Юрий назначил позднее – на 12 часов дня и буквально осыпал меня таким неохватным букетом роз, которого я еще никогда не получала.

С 1967-го года я изредка посещала ахматовскую церковь на Ордынке «Всех скорбящих радости». Но главным образом я избрала для себя эту церковь потому, что храмовый праздник совпадал с чи-

слом моего рождения, т. е. было торжественно вдвойне. Мы бродили по Филёвско-Кунцевскому лесопарку, рассуждая о необходимости для творца уважения к национальной истории, о нашем единодушном преклонении перед творчеством Данте, о моральной основе стихотворчества, о гармонизирующей сути истинного назначения творчества. Даже когда Юрий Кузнецов говорил об опасности для поэта попасть под влияние коллективного сознания, подразумевая кастовость, я соглашалась, хотя меня так и распирало упрекнуть моего спутника в его подверженности влиянию Кожина. Но я хранила благоразумное молчание до той поры, когда Кузнецов заявил об отрицании просветительской функции литературы. Тут уж я заговорила, упоминая Киево-Могилянскую Академию Поэзии 18-го столетия, требовавшую от поэтов употреблять божий дар таланта для общенародной пользы в деле служения мудрости и добропорядочности. Юрий остановился, сорвал благоуханный цветок со всё ещё цветущего куста шиповника и произнёс:

– Древние люди сравнивали человеческую душу с ароматом цветка. Человеческое тело гибнет после того, как душа покидает его. Так же увядает и цветок после того, как улетучивается аромат.

Было знойно, и мы наслаждались тенистой прохладой зелёных аллей. Кое-где рабочие заравнивали мётлами насыпной песок на тропинках. Палило солнце. Мы расположились на пеньках вблизи старой сосны.

– Я хорошо помню тебя по литинститутской общаге – такая стрекоза ты была! Всё с Рубцовым, Сизовым да Гавриловым носилась туда-сюда... Однажды с ними ты стояла в вестибюле в серебристой накидке, в белой шапчонке с кисточками и в белых конькобежных сапожках... Рубцов хвалился антикварным томиком Тютчева в сафьяновом переплете, подаренным ему Куняевым. Николай никогда не расставался с этой книгой. Рубцов жаловался однажды, что серьёзная литература не нужна коммунистической партии, нужна только литература политическая. Как ты думаешь, какова была скрытая, истинная причина убийства Рубцова?

– Любовные страсти, как я слышала.

– А я думаю, что причина убийства стара, как мир: зависть. Конкуренстка (Сальери в бабском облики) убила своего Моцарта... Я думаю, что в момент смерти Рубцову не столько было жалко проститься с жизнью, сколько ужасно было от мысли о незавершённости дела всей его жизни – недописанности своей поэзии... А бабу, должно быть, Николай чересчур уж допёк. Он ведь не церемонился ни с кем.

– Значит, Юра, мне повезло. Со мной Коля всегда обходился деликатно и заботливо, как старший брат.

– Ну, понятно, ведь ты была самой младшей из нас, носилась, как стрекоза. Но люди меняются, словно рождаются заново от каких-нибудь потрясений или просто меняются с возрастом. Вот тебе исполнился 31 год, и ты уже совсем неузнаваемая.

– Да просто – взрослая и всё, – произнесла я, вспоминая, какое множество писем Ушакова, Сельвинского и Межелайтиса ко мне пропало в общаге.

Профессиональный диалог соскочил каким-то образом на творчество Бунина. Юрий ценил Бунина больше меня, восхищался «Темными аллеями», к которым я была почти равнодушна. Кузнецов возмутился:

– Как можно не любить Бунина? К примеру, Бунин пишет, что в часах позеленел медный циферблат. Но зато циферблатную стрелку вертит Сам Творец Мироздания!

– Красиво, конечно, – согласилась я и напомнила Кузнецову о бунинском обычае бродить старомосковскими переулочками, бродить по Арбату и Плющихе, где он любил наблюдать солнечных зайчиков от бликов зеркал и стёкол, носимых стекольщиком.

Случайно у меня на Филях оказался именно тот самый бунинский томик, именно которого не доставало Юрию Кузнецову в его писательской библиотеке. По странному стечению обстоятельств получилось следующее: Кузнецов взял у меня то, чего ему не доставало, а я благодаря Кузнецову избавилась от лишнего.

В августе 1981-го года Юрию было 40 лет, мне исполнился 31 год, и для нас обоих наш возраст являлся возрастом творческого энтузиазма, вдохновения, интеллектуальной зрелости, творческого мастерства. Правда, Юрий иногда не шлифовал своих стихов в должной мере: опять-таки Кожинов сбил его с толку. Я так ему и сказала. Ведь Кожинов требовал от поэта глобально охватывать мир поэтическим чувством, а стихотворная техника, по мнению Кожинова, являлась чем-то второстепенным. До охлаждения к Кожинову Юрий Кузнецов следовал кожиновскому совету. В результате можно заметить в наследии поэта небрежную хаотичность, бессистемность, нахвтанность чужеродного материала – т. е. неорганичность некоторых выпирающих строк. Именно эти присущие любому поэту недостатки ревниво заметил Валерий Хатюшин вслед за Глушковой. Нацеленность же поэзии Юрия Кузнецова на подвиг, геройский русский дух творчества этого национального гения (т. е. главное) для них оказались непринципиальными. Припоминаю, как разговорились мы с Кузнецовым о летописи «Слово о полку Игореве», которое в ранней юности заучила я от восторга перед шедевром наизусть по-древнеславянски. Ведь моё детство прошло в половецкой степи. Юрий тоже

любил «Слово». Как дань нашей беседе на берегу Москвы-реки, когда я рассказывала Юрию о детстве в тех самых летописных степях.

Так мы проводили в парке свидание за свиданием, всякий раз схватываясь в споре из-за чего-нибудь, но чаще всего – из-за Кожинова либо из-за неписанных кастовых порядков, ущемлявших мою свободу. Я ссылалась на книгу дореволюционного русского писателя Иванова-Разумника «Судьбы поэтов», доказывая средневеково-феодальную дикость наших партийных диктаторов, курировавших всё художественное творчество в целом.

– Кто же тебе нравится из исторических фигур, – спросил Кузнецов, – как вождь, если так уж кажутся примитивными партийные вожди?

– О, – воскликнула я воодушевлённо, – знаешь, я в восторге от принца Макса герцога Саксонского!

– Никогда не слышал о нём. Что за фигура?

– Это был католический богослов, герцог Саксонский, который до Первой мировой войны посещал Российскую Империю ради изучения достоинств православной веры. Принц Макс знал русский язык, русскую музыку и проповедывал межчеловеческую любовь, радость, дружелюбие... Когда он умирал, то оставил завещание в пользу Русской церкви. Конечно, мы теперь в Советской России прекрасно обходимся без церкви, но этот человек любил православную Россию – понимаешь ли? Так много Макс Саксонский сделал для перемены западноевропейской неприязни католиков к России, что обозлил Папу Римского. Это, знаешь ли, не шутки!

Кузнецов гмыкнул, подначивая меня:

– Ну, и что ж в нём особенного, в твоём принце?

Я продолжила:

– Да то – особенное, что был принц аскетом и бунтарём с лицом, похожим на лик полководца Суворова... Принц Макс добился звания доктора богословия, но служил тюремным священником. Не удивительно ли?! Ведь он был королевского происхождения. Не чурался он и преподавания. Сам посудите: легко ли принцу Максиму было отказаться от его королевского достоинства и служить истине Христовой? В память об отце-короле Саксонии принц Макс в священнической сутане будет просить прихожан молиться об объединении западной крови с восточной. Но главное в принце Максиме было другое: его последовательное христианство. Так, по субботам он вместе с горничной ходил на базар, набирал корзину овощей да фруктов и раздавал гостинцы детям бедняков. После падения королевского трона в 20-х годах он и сам обеднел: спал на соломенном матрасе, брился на коленях перед осколком зеркала, стоявшем на стуле. И

это был университетский профессор ко всему прочему. Но как последовательный христианин принц Макс отказался от всех земных благ! Он утешался одиночеством. Зато у него была любимая псина. Когда старую больную псину кто-то из жалости захотел прикончить, принц Макс забрал животное себе и сделал вегетарианцем, каким являлся сам. Больная собака жевала морковку и вылечилась. Но была эта псина очень блохастой. Принц Макс травил собачьих блох каким-то очень слабым аптечным средством, чтобы, не дай, бог, никакая блоха не сдохла бы! Усыпленных блох принц Макс вычёсывал из собаки и вежливо вытряхивал на улицу, боясь совершить хотя бы даже блошиное убийство. Это и есть последовательное христианство.

Кузнецов захохотал:

– Вот это да! Ну, и что же произошло дальше с королевской псиной?

– Да ведь псина старая была... Сдохла, в общем, от старости.

Принц оплакал любимицу, похоронил и соорудил ей памятник с табличкой, дескать, тут покоится собака, умевшая любить...

– В самом деле, – согласился Кузнецов, любить – это искусство...

– Особенностью личности католического священника доктора Макса, – завершала я повествование, – была его очарованность Россией. Ключ к пониманию принца Макса Саксонского находится в его обожании православных святых – выдающихся фигур византийского благочестия, равных которым не знал католицизм. Так, принц Макс подражал какому-то нашему Святому – Фёдору Студитскому, которого я не знаю. Ведь церковная литература запрещена!

– И я не знаю, – с сожалением вздохнул мой спутник.

– Принц Макс восхищался православными Киево-Печерскими и Почаевскими старцами и сам в конце концов превратился в подобного им блаженного старца. Принц Макс называл крестовые походы против святой Руси разбойничьими.

– Теперь понятно, – улыбнулся Юрий Кузнецов, – почему его не взлюбил Римский Папа.

– Его статьи в пользу России и русского богословия публиковали православные журналы Российской Империи, Греции и Румынии. Принц Макс прославился как лектор, говоривший о христианской Элладе. Тут не обошлось, конечно, и без его православного кумира – Фёдора Студитского, личности, которой принц подражал до конца. Короче говоря, принц Макс опережал своё время. А ещё он обладал искусством видеть происходящее в каком-то сверхприродном измерении. Он считал, что духовное будущее принадлежит Российской Империи, а потому завещал Русской Православной Церкви в Женеве свою библиотеку, королевскую коллекцию живописных полотен и собственные рукописи... Что еще мог он завещать, если интеллекту-

альные сокровища были у него последними из того, что блаженный старец позволил себе иметь на земле?!

Юрий молчал. Замолчала и я. Вдруг Кузнецов ухмыльнулся, и я вопросительно взглянула на своего спутника. Он произнёс:

– Почему-то вспомнилась общага. Пожилась там парочка, но детей заводить пока не решалась и завела кошку. Потом развелись. Я спросил: «А куда же кошку дели?» Оказывается, тёща пристроила сиротку в ближайший сумасшедший дом.

Я расхохоталась. Но фамилию, которую Кузнецов назвал, не запомнила. Запомнилась лишь из той беседы легенда насчет бездомного русского скитальца Николая Рубцова, рассказанная Юрием. Будто бы Рубцов в его отчаянном положении однажды попросил квартирную хозяйку дать ему один лишь пододеяльник на раскладушку, чтобы поберечь простыню и наволочку, и хотел было спать внутри него. Я предположила, что так вполне могло быть. Кузнецов пригласил меня прокатиться на лодке, и я ответила:

– А вот герцог Саксонский принц Макс во время своих прогулок на лодке молился. Давай и мы помолимся как-нибудь!

– Как же?

– Например, так: Царь Неба, Царь Огня, Царь Воды, Царь Земли! Дай нам счастья!

Мы уселись в лодку, и Юрий произнёс:

– Вот и в моей судьбе наступил миг, когда моё сердце должно либо окаменеть, либо разбиться...

Тогда я не поняла смысла его слов.

Августовские встречи 1981-го года с Юрием Кузнецовым, так неожиданно даже для меня самой с фатальной внезапностью оборванные на взлёте чувств, потрясли нас обоих, и с этой точки пересечения наших судеб у каждого из нас (у меня и у Юрия) начался новый жизненный этап – более плодотворный в творческом отношении. Через пару месяцев – кажется, в конце октября, я включила наконец в телефонную сеть квартирный телефон. Вскоре раздался звонок: это был голос Юрия – упавший и растерянный: я узнала, что у него болит душа от моего исчезновения, но твёрдо, со всем мужеством заявила ему, что я вернула себе своего прежнего Фаворита. Юрий отнёсся к моему поступку с пониманием и больше не звонил. Через полтора года, весной 1982 года, я приняла предложение от своего старинного приятеля-скульптора.

Но рухнул СССР, и всё полетело вверх тормашками... О Юрии Кузнецове, однако, я избегала говорить... Ведь это был предмет моих



особых переживаний. Это была тайна моей души. Да и книги его не попадались мне за тот ничтожно короткий каникулярный срок, который отводился на родине после трудоустройства на Западе.

Между тем, Юрий Кузнецов менялся под влиянием глобальных перемен. С момента нашего сближения в августе 1981-го года на Блоковском празднике прошло полтора десятилетия, за этот период не стало Советской Империи, которой так гордился Юрий, я оставила поэзию и переселилась на Запад, а также отпала необходимость и мне, и ему играть языческие роли на сцене советской литературы по той простой причине, что запрет на Христианского Бога кончился. Юрий всей душой погрузился в православие, которое преобразило его – он почувствовал наконец единство с Богом, что в советское время было предосудительно. Так, в 1998-м году Юрий Кузнецов написал вдруг белые стихи вопреки своему правилу писать рифмой:

*Белый столп сияния восходит  
Прямо в купол вечного сиянья  
И сливается с дыханием Божьим.*

*Всё сияет: ангелы и звёзды,  
И деревья, и кусты, и травы.*

*Все цветы, как ангелы, сияют,  
И сиянье это несказанно!*

*Всё благоухает: близость Бога,  
И тепло Его прикосновений.*

*И благоуханье несказанно!  
Всё поёт: и небеса, и бездны.*

Этот поэтический шедевр – отрывок из кузнецовских стихов «Красный сад». Здесь присутствует желание постичь Бога и типичное для Юрия Кузнецова сомнение: правильно ли он догадался, не ошибся ли в чувствовании, в постижении места, где обитает Бог?

*Это так!» – промолвил светлый ангел,  
Что явился мне во сне наутро.  
Я проснулся в самом сердце сада...*

Это был *новый* Юрий Кузнецов, но отнюдь не другой, чем тот, с которым мы общались у меня в творческом кабинете на Филях в ав-

густе 1981-го года. Это был интеллектуально выросший Юрий Кузнецов. Это был поэт, прошедший серьёзную духовную эволюцию, но всё тот же, каким я знала его поэзию и раньше, т. е. с 1967-го года ещё по общежитию Литературного института.

Близость или удалённость Бога поэт чувствовал ещё в студенчестве и переживал остро, вопреки тому, что эта тема в литературных кругах порицалась даже в беседе (без надежды опубликоваться).

14 лет спустя после институтского знакомства в 1967 году мы бродили с Юрием по правому берегу Москвы-реки среди старинных лип и дубов и с жаром толковали о том, что остро волновало нас, без оглядки на посторонние уши: в начале 80-х годов Филёвский парк был ещё безлюден. После многочисленных споров с пылким темпераментом, бушевавшем с каждой стороны, наконец мы примирительно беседовали, найдя хоть в чём-то сходство взглядов.

– Каков из себя Бог? – размышлял Юрий, подогреваемый моим кипучим интересом к теме. – Бог невидимый, безтелесный, невыразимый никакими словами – значит, неизречённый.

– Бог есть первопричина всего сущего, – кивнула я, уже поднаторевшая в теософии, – но первопричина, таинственная для людей. Мне кажется, что постичь Бога можно только после смерти.

– Этим смерть интересна, – согласился Юрий, остановился под липой, закурил и вперился в меня взглядом. Он знал о моём любопытстве к теме смерти и ждал продолжения своей мысли. Я уклончиво вымолвила:

– Теософия учит, что Бог состоит из двух сущностей: из Творческого Разума (вечно мужественной сути), а также из Души Мира (вечно женской). Я читала ещё в общежитии машинописную копию из сочинений Гермеса–Трисмегиста. Тебе не попадалась?

– Слышал про какую-то чепуху насчёт того, что всё началось со вспышки: с Огня и Света, а Бог тут причём? Я не очень поверил...

– Притом, что это и есть образ Божий: Огонь и Свет.

Юрий гмыкнул, улыбнулся: и по-мужицки неуклюже, преодолевая смущенье, выговорил: «Ведические знания всё-таки не зря прославляли женщину: Душу Мира, как ты говоришь!.. Ну, допустим, образ Божий есть Огонь и Свет... Не знаю, Бог неопишем... Если Бог – это пламя, то как это связывается с Творческим Разумом и с Душой Мира?.. Твоя теософия что-то путает. Вот Блэз Паскаль!.. Паскаль – это христианство все-таки... В сочинении «Мысли о религии и о земном бытии» Блэз Паскаль цитирует философскую поэзию Пифагора – его «Золотые стихи»... Или не там, а в другом месте, где он ссылается на полемику с иезуитами? Запомню... Знаешь, что мне

нравится у Блэза Паскаля? О, это его постижение вселенского ужаса и тревоги!..»

Затем Юрий Кузнецов датирует 1981-м годом своё стихотворение с названием «Паскаль». Для меня оно свидетельствует о неясности мысли: проблему связи Паскаля со своим поэтическим творчеством Юрий Кузнецов в этом стихотворении только набросал, только почувствовал, но ещё не нашёл ей решение. Передо мной черновик будущего стихотворения Юрия Кузнецова, к сожалению, поспешно опубликованный – видимо, кто-то из слушателей его стихов оказал коллеге медвежью услугу. Но не без ошибок, конечно, все мы существуем. И эта поспешность с публикацией черновика, т. е. незавершённого стихотворения, всё же ничуть не умаляет гениальности поэта, но демонстрирует пытливость его ума. А тема смерти продолжала и дальше интересовать Юрия Кузнецова. И вот через значительный временной интервал появляется кузнецовская попытка художественно осмыслить философскую категорию смерти:

*Вьёшься, не зная заботы  
В нашем убогом краю,  
Белая бабочка.*

*Кто ты?*

*Тайну открой мне свою.  
Или о чём вспоминаешь,  
Светлым миганьем полна?  
– Если умрёшь, то узнаешь! –  
Так отвечала она.*

*Мыслью, и словом, и делом  
Столько я раз умирал,  
Но за последним пределом  
Я ничего не узнал!  
– Мыслью, и словом, и делом  
Мало еще ты страдал,  
И за последним пределом  
Ты не совсем умирал.*

Это стихотворение «Бабочка» предваряет другое – «Живой голос», в котором я узнаю запоздалую досаду из-за наших филёвских препирательств насчёт литературы и примирительных бесед о теософии:

*Нахваталась ты слов, нахваталась,  
Все твои измышления – ложь...*

Миновало десятилетие с момента филёвских встреч до создания этого стихотворения, а мысленный диалог между нами всё продолжался. В процитированных строчках зарифмованы претензии ко мне Юрия Кузнецова, получившего от женщины впервые такой интеллектуальный отпор всем его догматическим сентенциям на крутом правом берегу Москвы-реки, где происходили наши интеллектуальные сражения. Ветер тогда норовил сорвать с меня лиловую соломенную шляпу с широкими полями, украшавшую мой костюм художественной работы. Колючий кустарник малины выдёргивал из моей одежды нитки. А тут еще Юрий от досады из-за споров со мной ломился сквозь кустарник колючей малины, как медведь, пролагая дорогу через заросли и злил меня тем, что его Паскаль лучше моего Аристотеля. Он дразнил меня:

– Бабы в высоких материях не разбираются, у них мушиные мозги!

Чтобы осадить коллегу насчёт «мушиных мозгов», я заговорила об Аристотелевских трактатах, содержащих учение Пифагора, а также о сочинениях Платона, где Бог представлялся источником мировой гармонии, верховной Единицею. Я напомнила своему обидчику «Золотые стихи» Пифагора:

*Воздай бессмертным богам благоговейное поклонение,  
Укрепи свою веру.*

Ведь Пифагор был не только мудрецом, но и поэтом. Для Юрия Кузнецова принадлежность Пифагора к поэзии послужила умиротворяющим фактором. Мы выбрались наконец из малинника, и он отошёл от меня в сторону за колокольчиками, которые прежде росли в Филёвском парке так же естественно, как водились там белки, ныне исчезнувшие совсем. Сорвав несколько стеблей с голубыми цветами, мой обидчик преподнес их мне, и мы помирились.

В стихотворении «Живой голос» поэт сетует на то, что он так и остался «чужаком» в моей женской судьбе. Его мучила тираническая ревность к так называемому Королю Пиковому, в обществе которого много лет после развода с первым мужем и до второго замужества я появлялась в ЦДЛ, он слыл моим общепризнанным телохранителем и фаворитом. Король Пиковый был достойным спутником: в его 35 лет он уже обладал законным титулом доктора физико-математических наук РАН, что в СССР считалось прямо-таки сенсационным.

Пиковый Король представлял собой личность разносторонне талантливую, но он имел семью, поэтому я часто пребывала в полном одиночестве, удобном для творчества. Нас связывали давние чувства привязанности. В шутку я именовала своего сердечного друга

Барсом Борисовичем, общались мы с ним только на «Вы», и он всегда был готов услужить даме своего сердца ответами на мировоззренческие вопросы, например: о геометрической форме поперечного сечения Вселенной. Меня интересовала проблема конечности или бесконечности Вселенной. Барс Борисович, подумав, предположил, что вряд ли это может быть эллипс – скорее круг. Таким образом, нам с ним казалось, что Вселенная конечна. Эта догадка была потрясающей для нас обоих.

Когда в какую-то из августовских встреч с Юрием вдруг по телефону на Фили, куда я переехала из далёкого Кунцева, позвонил мой доктор физико-математических наук, то Кузнецов, пришедший по обыкновению ко мне утром, услышал, что кого-то я называю Барсом Борисовичем и был изумлён:

– Ты шутишь! Имени Барс не существует!

– Если существует имя Лев – разыгрывала я своего утреннего гостя, – то почему же не существует Барс?

– Признавайся, – зарычал Кузнецов, – что это ещё за Барсик?!

Это была первая, но, увы, не последняя сцена ревности, на которую Юрий ещё не имел права.

Барсу Борисовичу, носившему, кстати сказать, нормальное человеческое имя, но вовсе не Барс, конечно же, тогда я дала временную отставку, которая отразилась на состоянии здоровья моего физика затяжным гипертоническим кризом: он тоже сходил с ума от ревности, но, по крайней мере не появлялся у меня. Мужская ревность всегда изумляла меня своей зоологической глупостью, поэтому вскоре я вышла замуж за скульптора, избавленного от этого животного порока – в моём втором супружестве я почувствовала себя свободной от мужской тирании.

Когда в ЦДЛ Юрий Кузнецов затем после годичной разлуки случайно столкнётся со мной в пёстром кафе, он поцелует моё обручальное кольцо и порадует за меня, он поймёт, что мой избранник безусловно выбран мною за выдающиеся достоинства. Я расскажу об этом поступке своему второму мужу – скульптору, и он начнёт уважать поэта Кузнецова как настоящего мужчину, добывать мне его новые книги и радоваться каждому стихотворению Юрия обо мне.

Мой муж – скульптор мужским чутьем и чутьём художника безошибочно различал кузнецовскую любовную лирику, адресованную «бабью», от стихотворных посланий мне, т. к. после внезапного разрыва наших отношений с Юрием из-за кузнецовской ревности мы практически перестали общаться даже по телефону. Оставалась книжная переписка как средство деликатного общения друг с другом. Ведь Юрий помнил, что у пифагорейцев супружество считалось

священным. Мы беседовали и об этом в наши августовские встречи после того, как, взбодрившись кофеем, на весь день удалялись из моего творческого кабинета прогуливаться вдоль речного русла Филёвско-Кунцевского лесопарка. Жаркая солнечная погода способствовала нашему безвылазному нахождению в тихом закутке Москвы, когда ещё противоположный берег Москвы-реки не был застроен многоэтажными башнями. С правого берега, со стороны Филёвско-Кунцевского парка, открывалась зелёная панорама колхозных полей, за которыми располагалась деревенька, куда мы с Юрием плавали на лодке, взятой на прокат.

Однажды мы забрели на выставку кошек в кошачий павильон. Я восхитилась выставленным в клетке сиамским котом:

У меня был такой же котик по кличке Пифагор! Но его растерзали уличные собаки.

Кузнецов расхохотался:

– Даже кота назвала философским именем!..

Пришлось оправдываться:

– Что ты имеешь против Пифагора? Так, например, все мы в Литературном институте изучали краткий курс античной философии, из которой при желании можно было вылущить ценные сведения про эту необыкновенную личность. Пифагор никогда не записывал своё эзотерическое учение, оно было устным, лишь самое важное шифровалось тайными символами. Знал бы ты, какую фантастическую цену заплатил его последователь Платон за единственный манускрипт Пифагора, который ещё и никто не мог долго расшифровать уже при Сократе!.. И все-таки философское сочинение Платона «Тимея» доносит до нас космогонию Пифагора... Также суть Пифагорейской Системы изложена в сочинениях Лизия, Филолаиса, Архипа и в комментариях Гераклеса... Личности мудреца Пифагора были присущи сверхчеловеческая энергия, сверхчеловеческий энтузиазм... А вот мне нравится гигантская энергия твоих стихов – увы, тоже, она и у тебя есть одинаково сильная не во всех. И всё-таки энергия – это пифагорейское качество поэзии – вот что любопытно!.. А насчет кота зря смеёшься, Юра! Ну, дала я ему кличку в честь имени любимого философа, и, быть может, это спровоцировало мистически гибель животного. Ведь философ Пифагор трагически погиб.

– Как? – остановился Кузнецов, всё ещё пребывая в изумлении от неестественного в его понимании разговора с женщиной. И любопытство донимало его, и досада из-за интеллектуальной беседы с «бабой» точила Кузнецова, поэтому он набычился и молча слушал.

– Пифагорейское учение было политическим. Мудрец провозглашал, что государственная власть должна принадлежать учёным, высоко образованным и морально чистым людям.

– Это тебе твой Барсик сказал? – уставился на меня собеседник. – В жизни так не бывает!

– Да, но Пифагор хотел, чтобы так непременно было в жизни. В противном случае государственная власть по-прежнему будет вершиться грубой силой со всяческими нравственными пороками... Эти высказывания Пифагора взбесили правителей его времени, и те однажды натравили на Пифагора людскую толпу. Когда Пифагор с учениками находился в доме, свирепая толпа подошла к дому. Почти все сгорели в огне. Погиб и сам Пифагор. Лишь Лизис и Архип спаслись. Вот они-то и оставили сокровенные сведения о Пифагоре...

Через десять лет я обнаружила у Юрия Кузнецова стихотворение «Молчание Пифагора», концовка которого выражает душевное страдание поэта по поводу молчаливых жертв политических репрессий, о чём пока ещё никому не позволялось говорить прямо, но что он выразил метафорично:

*Вперёд, вперёд веди, угрюмый стих!  
Веди меня по всем камням-дорогам  
К безмолвью Просветлённых и Святых,  
Обет молчанья давших перед Богом.  
Веди в подвалы вздыбленных держав,  
Где жертвы Зла под пытками молчали;  
Ни истины, ни правды не предав,  
Они самозабвенно умирали...*

Вот эта публицистическая **правда** в поэзии Юрия Кузнецова, словно приговорённого литературоведом Кожинным оставаться пожизненно Мифотворцем, являет в 90-е годы совершенно новое качество поэзии Юрия Кузнецова, но прежде всего демонстрирует то главное, чем он привлёк моё внимание к нему когда-то: **свободу** его поэтической природы, отвращение от всякой лжи и неволи, отсутствие в его личности рабства.

Прогуливаясь по склонам Филёвско-Кунцевского лесопарка, Юрий Кузнецов рассказывал мне о древнем Зароастре, научившем азиатские народы обрабатывать землю, производить виноград, выращивать хлеб, создавшем кастовую иерархичность. Его последователь Рамь запретил рабство наравне с убийством. Рамь утверждал, что порабощение людей лишает рабов чести и человеческого достоинства, из чего происходит множество несчастий. Слушая такие

речи, я отмечала про себя, что в Юрии вопреки его животной дикости (например, ревность или презрение к «бабью») присутствует некая искра божественного сознания, которой нет больше ни в ком из поэтов разночинного лагеря славянофилов. Он был действительно неподражаем и в самом деле – один, как и написал об этом когда-то в порыве горечи. Пусть трудно порою читать неотшлифованные, сыроватые стихи Кузнецова, – просто следует понимать, что поэзия служила ему инструментом самопознания и познания мира; ему было не до мелочей в трудоёмкой работе интеллекта. Юрий Кузнецов, насколько мне удалось понять его, медитативным способом при стихосложении общался со скрытыми силами Природы, со стихиями, с разными духами, заглядывая в щель потустороннего мира, до которой добирался его интеллект в творческом процессе. Этот гигант русского духа стремился познать судьбу и победить судьбу, искал абсолютную Божественную свободу и никак не находил. Наконец в отчаянии от своих духовных метаний поэт слагает трагедийное стихотворение «Вечный изгнанник»:

*Я изгнан оттуда, где древо  
Познанья роняет глагол.*

Не помогла ему и философия Канта – Бердяевского кумира, – которым Кузнецов увлекался в 80-е годы («Дух Канта») – его точили предчувствия:

*И небеса, и нравственный закон  
Потряс удар – распалась связь Времён.*

Гнетущее предчувствие распада связи времен, т. е. конца, зарождается в поэте не сразу, а подобно смерчу – набирая гигантскую силу.

Сравнивая творчество Юрия Кузнецова с творчеством Иосифа Бродского, покоряющего свою библейской и мировой культурой, которой насыщена поэзия Нобелевского лауреата, я отмечаю для себя, что у Бродского, искусно шлифовавшего каждую строку, чересчур много капризной вычурности, почти дамской манерности, бесконечной словесной вязи, присущей больше кружевной женской поэзии, чем мужской.

Нет в поэзии Бродского (порою в его поэзии восхитительно изящной) такого колоссального мужского начала, как у Юрия Кузнецова. Вот два антипода, и оба громадного значения: Бродский – как чисто культурный феномен, Кузнецов – как феномен героический в



культуре. В стихотворении «Молчание Пифагора» появляется символ: «Река Времени, река забвенья», который вызывает естественные ассоциации с нашими творческими прогулками вдоль русла Москвы-реки в направлении из Филей в Кунцево и обратно. Если смотреть сверху, с правобережной крутизны, как мы всегда начинали прогулочный маршрут, то виделось воочию, что внизу «река мерцает и дрожит».

Но по прошествии десятилетия мне представляется понятным то, почему в поэзии Кузнецова река меняет свою прежнюю суть и становится «тенью застывшего мгновенья». Поэт Юрий Кузнецов посвящает стихотворение осмыслению духовной сути образа Пифагора, как вдруг появляются в портрете философа несколько отвлечённые сентенции о безмолвствующей «великой любви», о молчащей «великой печали», о логически необъяснимом внезапном возникновении в пифагорейском портрете таинственной пары дополнительных персонажей:

*Любовь слила два сердца – взор во взор.  
Они молчат **на берегу пустынном.**  
... Ни слова! О, ни слова, Пифагор,  
О красоте, чья **двойственность – в едином.***

И чуть ниже в пифагорейском портрете внезапное обращение к современной Психее, чьё имя сокровенно и должно оставаться тайным. Это шифровка для неё, она догадается:

*Ты помнишь зал? Беспечный бал гремел.  
Но ты вошла – и все, как онемели.  
И кто-то молвил: «Ангел пролетел!»  
Не только ангел. Годы пролетели!..*

Десятилетия миновали с тех пор, как «на берегу пустынном» – на левом берегу Москвы-реки, куда мы приплыли на лодке, мы вдвоём беседовали о Пифагоре, о Пифагорейской Гармонии и Красоте, которая иногда представляет известную марксистскую борьбу и единство противоположностей: «О красоте, чья двойственность – в едином». Философская мысль понятна – это пифагорейская мысль. Даже если образ современной Психеи считать собирательным, суть дела не меняется: кто-то должен был послужить реальным прототипом; должно было когда-то в душу поэта упасть идейное зерно, должно было вылежаться и пережить эмоциональное потрясение, а также должно было вырваться ещё интеллектуальное осознание события,

происшедшего между нами обоими с блеском молнии, на что требовалось время.

А причина для стихотворения была: конец лета, тёплая и сухая погода, лодка в ивняке, чистый песчаный берег пологого левобережья, уединение, молодость. Собеседники познают душевный мир друг друга – это оказывается увлекательно для мужчины (ему 40 лет) и для женщины (ей 31 год). Они купаются в реке и прикасаются ладонями друг к другу: оказывается, что ладони жгут – невозможно касаться! Купающиеся в реке атлетические тела словно сгорают в пифагорейском огне эфира.

Купальщики выходят из реки и сохнут у вечернего костра. И он, и она пребывают в лучшей поре физического цветенья, когда сексуальное чувство составляет неизбежность отношений. Но не тут-то было: обоим препятствует одинаковый детский стыд, почему-то непреодолимый. Мужчина и женщина сидят на чурбанах у вечернего костра друг напротив друга, греются, молчат. Они уже отведали ожогов, которые остаются от ладоней на теле друг у друга после прикосновений: но божественный пифагорейский огонь препятствует обыкновенному завершению близости этой пары.

Происходит что-то сверхъестественное, неожиданное для обоих: они уподобились стыдливым детям. Потрескивают сучья в костре, взвиваются искры, речная вода покачивает лодку в ивняке, пустынно на сумеречном берегу – дело к ночи. А молодая пара не сводит глаз с костёрного огня, как зачарованная. Что-то происходит с обоими, происходит раз и уже навсегда. Оба заметно преображаются в этот остановившийся миг августовского вечера на речном берегу, в лицах обоих появляется одухотворённая красота. Именно она, эта божественная красота, делается центральной в их дальнейших платонических взаимоотношениях, в их поэтической переписке через книги. Тем более фатальным делается для обоих внезапный разрыв отношений без единого слова, без объяснений ни до, ни после – вообще когда-либо. Юрий Кузнецов назовет это потрясение «Предутренними вариациями»:

*Прощай, печаль!  
В последний раз  
Твоё прекрасное лицо  
Бросает ответ на крыльцо,  
Пока заря не занялась...  
...Пока заря не занялась,  
Приснится мне счастливый смех,  
Твоё лицо и вечный снег...*

Пока заря не занялась, беседовали мы у ночного костра о высоких материях теперь уже единственно затем, чтобы удержаться от деланья глупостей. И в данном случае я лицезрела у ночного костра личность глубокого ума и великодушного характера, умеющую владеть собой в довольно-таки мучительных ситуациях. Юрий продемонстрировал на бытовом примере своим самоотверженным мужским бескорыстием ту магическую власть его души, которая прежде гипнотизировала меня в его поэзии:

*За тьмой небес ещё слюится тьма.  
Старик был прав, когда сошёл с ума.  
Я слышу клёкот – вылетел в окно  
Его орёл. Светло или темно,  
Но я сияю! Негасимый свет  
Меня наполнил. Даже солнца нет.*

Эти строки из баллады «Змеи на маяке» написаны были поэтом задолго до наших творческих свиданий – данной цитатой я хочу обратить читательское внимание на присущую Кузнецову иррациональность мироощущений, которая была органически присуща в те времена из всех советских поэтов мне одной. Вот та причина, из-за которой литературовед Виктор Жигунов поставил нас с Юрием Кузнецовым в паре в разгромной статье Литгазеты. Поэтому нас медленно, но неотвратимо влекло друг к другу – но интимное сближение, как мне кажется, было запрещено Божественным провидением. Такие нетипичные для рядовых обывателей отношения открыли мне в Юрии Кузнецове понимание того, что гениальность великорусского поэта зиждется на его духовной силе и всепобеждающей доброте. Действительно, такой Кузнецов был – «один, остальные – обман и подделка».

Меня потрясла личность Юрия Кузнецова своей исключительностью, отблеском божественности на его поэтической натуре, что дало основание мне отождествить Юрия с языческим славянским богом Перуном. Пифагорова теософия объяснила мне, что душа, избранная для божественной миссии, обречена оставаться непонятой людьми и одинокой. **Его миссия заключалась в оживотворении богатырского Русского Духа, – вот зачем Поэт приходил на землю в эту Юдоль печали.** Я понимала Юрия тогда душой гораздо больше, чем рассудком. В августовский период нашей по-детски целомудренной любовной горячки мой рассудок вообще затуманился на долгие годы. В этом состоянии обоюдного умопомрачения мы и расстались – внезапно, странно и без всяких объяснений.

Но тогда, на пологом речном берегу у костра, мы ещё не подзревали фатального конца. Юрий подкидывал дровишки в костер, где пеклась картошка. Я куталась в плед. Слышно было, как трещат сучья в огне, как плещется слабый речной прибой о берег, как пронзительно (до звона в ушах) молчит Муза молчания, взиравшая, вероятно, со своих заоблачных высот в свойственном ей белом покрывале с пальцем, приложенным к губам, на аполлоновых слугителей.

Память ярко запечатлела эту ночную картину, словно осуществилась видеозапись в Вечности. Затем в моём стихотворном цикле «Любовь к Перуну» под номером 6 появится поэтическая запись этих переживаний по горячим следам, датированная в моём контрольном экземпляре 24 августа 1981 года. Там речь идёт о Кунцевском «дощатом причале, где флаг голубеет и вьётся» (имеется ввиду речной символ, не государственное знамя), речь идёт о различии гороскопов у «рождённого в феврале под Водолеем», которому сопутствуют планеты Уран и Сатурн, и у Льва, который согласно гороскопу – дитя Солнца.

Адресат, которому предназначалось стихотворное послание, догадался о моей шифровке и ответил мне книгой «Ни рано, ни поздно». Это мое иррациональное стихотворение, написанное как бы после физической смерти нас обоих, характеризует земные наши отношения как несложившиеся и примиряет нас в Вечности: дарует беспрепятственное чувство любви только после смерти. Вот именно это ощущение испепеляющей смертоносности любовного слияния друг с другом и воспрепятствовало нашей телесной близости. Оно же и толкнуло меня на разрыв.

Теперь уже ликвидирован катерный причал в Кунцеве из-за того, что река обмелела, буйки сняты; да и миновало более трёх десятилетий со времен той мистерии, о которой приходится повествовать.

Благоухала, помнится, речной свежестью летняя ночь. Я шлёпала босыми ступнями по тёплой прозрачной воде, которая в лунном свечении ошастливливала меня находками – двустворчатыми ракушками, торчавшими из песчаного дна. Юрий приблизился, чтобы взять у меня из мокрых пальцев причину моей детской радости и весёлого смеха, обнял меня: миниатюрную в сравнении с ним, словно я всё ещё оставалась подростком. Мог ли он сейчас как-то обидеть то беззащитное существо, которое столь недавно казалось ему враждебным?! Юрий повертел в руках ракушку и предложил выпить вина за летнюю ночь на берегу.

Мы расположились у своего костра на чурбанах друг против друга и разлили вино по бумажным стаканчикам: Юрию налили больше, мне – меньше. Закусывали печёной картошкой, сыром, овощами.

Были в нашей пикниковой корзине еще дыня, бутылка минеральной воды, персики и сотовый мед. Отсветы пылающего костра преобразовали наши лица и делали их непривычно новыми в ту августовскую ночь на речном берегу. Духовным зрением я замечала, как энергия струится из атлетической фигуры Юрия Кузнецова, бронзовевшей в отсветах пламени. Что-то похожее происходило и со мной.

Поэт заговорил о матери-природе, наделенной божественным женским началом, о Психее-Персефоне. Мы коснулись тайны жизни как задачи искупления грехов прежней реинкарнации, затронули тайну смерти как избавительницы от страданий в земном чистилище. Смутно мерцала под звёздным куполом августовской ночи Москва-река в Кунцевской излуке, где 30 лет назад еще не было Строгинского моста, но сквозил великий русский простор. В реке с внезапной звучностью плеснула рыбина, вынырнувшая за мошкой, Юрий растянулся на плече у костра, кочегаря его зелёной ветвью. Я пересела на бревно, наблюдая борьбу мрака со светом. Иногда пламя горело слабее, меньше искрилось, иногда от подброшенного Кузнецовым поленца вздымалось высоко. Я процитировала Данте:

*О род людской! С тебя довольно квия.  
Будь всё открыто для очей твоих,  
То не должна бы и рождать Мария.  
Ты видел жажду тщетную таких...  
Средь них Платон и Аристотель были.*

Юрий Кузнецов напомнил, что по древне-фракийскому преданию поэзия была изобретена Оленном, это в переводе означает всемирное существо – Отец, и что вначале в Дельфах поклонялись Оленну. Я добавила к его словам то, что имя Аполлона имеет общий с Оленном корень – раньше мой союзник не придавал этому значения. Пифагор поклонялся богу искусств Аполлону и сам славился как мудрый поэт. От Аполлона и жрицы родился Орфей – создатель космогонического учения, воспетого Гомером.

– А известно ли тебе, – оторвал Юрий взгляд от огня и устремил на меня, – о том, что твой любимый Аристотель свидетельствовал: будто бы пифагорейцы знали о движении Земли вокруг Солнца?

Я кивнула:

– Поляк Коперник оставил записки о том, как он додумался насчёт вращения Земли вокруг собственной оси. Ему помогло чтение трудов Цицерона, там и нашёл подсказку.

– Древность, оказывается, многое знала, – подбросил Юрий поленце в огонь и заговорил о том, что в давние времена поэты

популяризировали диалектическую мудрость философов в стихотворной форме. Восхищался Кузнецов и русскими маскарадами 18-го столетия, происходившими на балах. Известно ему было маскарад-ное шествие, изображавшее Золотой век с богиней Астреей во главе шествия. Позади Астреи медленно двигались с пением мальчики в белых ризах, держа над собой оливковые ветви и размахивая ими в такт пению. Далее в процессии двигались старики в лавровых венках и тоже в белых балахонах – они изображали стихотворцев, законодателей, философов и приветствовали наступление Золотого века...

Но кончился когда-то Золотой век, кончился и маскарадный 18-й, подходил к концу 20-й... Из ближней деревеньки донеслось пение первых петухов, затем вторых петухов. Разговор постепенно угасал вместе с огнями. Похолодало. Мы уснули, как брат с сестрой, мгновенным беспамятным сном – не зря древние лекари считали сон родственным смерти. Проснулись мы одновременно от шагов рыбака, тащившегося по реке за Кунцевскую излуку и громко шлёпавшего по воде резиновыми сапогами. Над колхозными полями, посаженными капустой, петрушкой, свеклой и кабачками, серел утренний туманец.

Юрий бросился в воду, зафыркал, поплыл. Я тоже умылась в чистой, прозрачной реке. Светало. Река словно дымилась в лёгком августовском туманце. Слабо шумел ивняк во мгlistом утре зачинавшегося дня. Зачирикали воробьи. Донеслись откуда-то из-за излуки заспанные голоса. По московскому небу протянулись алые полосы, запел жаворонок над колхозными полями, и выкатилось багровое солнце из-за горизонта. Звёзды ещё не исчезли, белела Луна, мы плескались в воде, держались за руки и хохотали, как дети... Когда через год у Юрия Кузнецова появится стихотворение «То не лето красное горит», я обрадуюсь тому, что наши теософские беседы не прошли для него даром:

*То не лето красное горит,  
Не осенний пламень полыхает, –  
То любовь со мною говорит,  
И душа любви благоухает.  
Я уже не знаю, сколько лет  
Жизнь моя другую вспоминает.  
За окном – потусторонний свет  
Говорит о том, что смерти – нет!  
Все живут. Никто не умирает.*

В то пифагорейское лето я натирала руки и ноги маслом розы против комаров по рецепту древне-египетских лекарей, врачевав-

ших жён капризных фараонов. Впрочем, и не только лишь в то лето: я поступала так всегда после несчастного случая в Киеве. Однажды в двадцатилетнем возрасте я приехала к матери на студенческие каникулы, и она немедленно потащила меня в свой писательский дом творчества «Ирпень».

Я красовалась среди писательских и цэковских сыновей в мини-платье типа «балеринка». Успех, конечно, был полный, т. к. я таки была когда-то балеринкой; и теперь моя хореографическая осанка производила чарующее впечатление. Но за чары пришлось дорого заплатить: на речке Ирпене меня покусали комары. Вечером поднялась температура чуть не до 40°C, началась рвота со всеми признаками отравления, и скорая помощь увезла меня в украинскую столицу. Диагноз был удивительный: отравление комариным ядом. Моё тело было сплошь в зудящих ранах от расчесывания...

Затем украинский профессор литфондовской поликлиники лечил меня полтора месяца от комариного отравления и приказал опасаться этих насекомых. Он-то и предписал мне всю жизнь пользоваться тем же средством, которым спасались фараоновы жёны многие тысячелетия. Вот та причина, по которой я тратила крупные денежные суммы на розовое масло. Разумеется, моё тело, натёртое ароматным маслом и поэтому избавленное теперь от комаров, благоухало. Это и есть тот самый любовный аромат, который стал для поэта Юрия Кузнецова незабываемым. Во многих лирических произведениях, имеющих ко мне отношение, у Юрия появляются воспоминания о благоухающем аромате. В августе 1981 года Юрий искал во мне свою новую судьбу, стучал в моё сердце без ключа к нему. Я отнесла эту ситуацию к воле Божественного провидения.

В то лето «красное» Юрий часто беседовал со мной о попытках творческого проникновения в потусторонний мир с помощью творческого экстаза, сна и сновиденья. Мы обменивались творческим опытом относительно озаренья и вдохновения как метода постичь скрытое в мироустройстве, тайное. Говорили также о политике СССР: я опасалась по поводу вероятного американского верховенства, Юрий злился. Мы ссорились. Затем мирились. Мирил нас какой-нибудь паук. Юрий вообще был очень суеверен: верил и в пауков, и в чёрных бабочек. Тогда, последним августовским утром, он увидел паука и горестно воскликнул: «Это к печали!..» Он опасался потерять меня – так хрупки были наши отношения, только начавшие складываться. Но Божественное провидение разлучило нас.

А через четыре года пришел к власти Горбачёв, и страну залихорадило. Через десять лет после нашего пифагорейского лета опять-таки в августе (мистическом месяце календаря) рухнула сверхдер-

жава СССР – произошло то, что не укладывалось в наше сознание, переворачивало его вверх дном. Больше нам с Юрием уже никогда не приходилось встречаться наедине.

С поэтом Кузнецовым начало происходить то именно, что разглядел литературовед Сергей Куняев, чья критическая оценка кузнецовского творчества контрастировала с прямолинейной кожиновской. На мой взгляд, Сергей Куняев абсолютно правильно умозаключил: «Нарастающий катаклизм и обрушение фундаментальных государственных основ знаменовали для Юрия Кузнецова прорыв на поверхность тёмных сил Хаоса, закат евразийской державы». Едва пережив критическое десятилетие после развала СССР, умер и сам Поэт.

Я находилась за границей, когда мой муж вернулся из библиотеки и принёс мне новость о смерти Юрия. Я вздохнула: «Рано умер, жаль поэта, но смерть – дело Божье». Мой муж потребовал, чтобы я немедленно отложила всё и заказала бы панихиду. Дело было в православной Болгарии, и мы помянули Юрия. В католической Чехии это было бы проблематично. Мне привелось избежать траурных мероприятий по поводу телесной смерти поэта Юрия Кузнецова. Поэтому для меня, привыкшей годами находиться в разлуке с ним, на самом деле Юрий не умер, а продолжает жить. Просто 30-летний отрезок времени с того пифагорейского августа позволил мне приоткрыть завесу тайны над тем, кто он был среди нас.

...В описываемые времена 40-летней давности, как позже выяснилось, и Юрий Кузнецов также дерзнул упомянуть в своём стихотворении «Всё сошлось в этой жизни и стихло» имя Бога – это было рискованно в брежневскую эру. Ища выход из ситуации творческих запретов на многочисленные темы, и Юрий Кузнецов, и я перекинулись со своими мистическими потребностями в язычество. Когда же дух мистики обнаружится в нашем творчестве, бдительный страж из партийной литературной критики Виктор Жигунов опубликует разгромную статью про нас с Юрием как про две главные действующие фигуры непозволительного новшества. Упомянул Жигунов и пару ленинградцев для пущей важности, но удар главным образом был направлен на нас двоих.

С этого литературного факта и началось сопоставление творчества Юрия Кузнецова и моего как творчества различных поэтов, движущихся из пункта А и пункта Б навстречу друг другу к общей цели. Наше творческое сближение неотвратимо происходило 14 лет с момента знакомства в общежитии в 1967-м году и сопровождалось взаимным противостоянием, обоюдным сопротивлением друг дру-



гу из-за различия мировоззрений. И все-таки сближение случилось: по-видимому, из нашего профессионального любопытства к творчеству друг друга.

В какую-то из наших августовских встреч Юрий на берегу Москвы-реки вдохновил меня написать «Фамильную историю» о моем польском происхождении (по материнской линии; по отцу я происхожу из дремучих великороссов), на что без его подсказки никогда бы я не отважилась.

В названном стихотворном цикле опубликованы четыре произведения, написанные в период августовских встреч, которые я читала Юрию Кузнецову: «За что даны мне вещие глаза?», «Фамильная история», «В свой час ты явился: ни поздно, ни рано...» и «Горячий, как расплавленный металл...»

Когда в Филёвском парке прочитала я Юрию стихотворение «За что даны мне вещие глаза?» (датировано девятым августом 1981-го года), Кузнецов встал с лавочки, стоявшей на правом берегу Москвы-реки, поднял гальку, бросил в воду, повернулся и отредактировал строчку первого четверостишия о чёрном мраморе правды, которую в моём стихотворении не желала намочить человеческая слеза. Юрий поправил:

– Лучше напиши так: «А чёрный мрамор правды не источит».

Но я опубликовала в своей редакции, считая её (согласно ушаковской теории поэзии) логически более точной строкой. Юрия же пленяла в поэзии экспрессия больше логики. Я понимала его: мы оба увлекались в студенчестве экспрессивной поэзией Поля Элюара, которого, кроме нас двоих, почему-то наши юные коллеги недооценивали. Но Николай Ушаков раз и навсегда научил меня в Киеве тому, чему никто в Литературном институте Москвы не смог научить: при всех формалистических изысках держать на первом месте точность и логику, входящие в здравый смысл и никогда не действовать в ущерб им. Это был главный ушаковский закон.

Юрий Кузнецов, попавший в Москве под влияние литературоведа Вадима Кожинова, очарованного магией русской поэзии 19-го столетия, последовал за своим литературным пастырем, который считал возможным жертвовать даже здравым смыслом во имя магии поэзии. Эта, на мой взгляд (и тогдашний, и теперешний), профессиональная позиция сильно затуманила творчество Юрия Кузнецова, которое, не взирая на результат такой позиции – путаность смысла – отнюдь не перестало быть гениальным.

Завершая детализацию нашего творческого сближения с Юрием Кузнецовым, я хочу порадоваться тому, что случайно спасся от огня моих приступов всеожожения поэтических рукописей экземпляр

моей книжицы «Сквозь годы световые» с датировкой написания перечисленных стихов. Я поставила даты по стихотворной тетради от руки в момент издания (1984 год). Я назову эти даты: «Горячий, как расплавленный металл...» было написано (а затем прочитано Юрию) 21-го августа 1981 года.

«В свой час ты явился: ни поздно, ни рано...» – время создания 24-го августа 1981 года. Примерно в эти же дни была создана и прочитана Юрию небольшая поэма «Солнечное затмение».

«Фамильная история» – время создания 26-го августа 1981 года. Её уже услышать Юрию не пришлось.

Все перечисленные произведения входили в историю наших отношений и имели творческие последствия. Так, Юрия Кузнецова впоследствии впечатлило мое обращение к «Божественной комедии» Данте, предваряющее и завершающее «Фамильную историю». Он задумался над этим.

Стихотворение «В свой час ты явился: ни поздно, ни рано...» носило в начале 80-х годов посвящение – аббревиатуру «Ю. К.». Я неоднократно пыталась опубликовать его в «Дне поэзии», но оно было только лишь издано. Мои строчки: «ни поздно, ни рано» затем обнаружилось в названии кузнецовской книги, что ободрило меня: Юрий подавал мне знак, чтобы я обратила внимание на некоторые (понятные мне одной) его новые лирические стихи.

После августа 1981-го года ни встречаться, ни говорить друг с другом нам уже не имело смысла. Всё уже было сказано за три встречи. Но наше творческое общение на расстоянии, наш поэтический диалог друг с другом никогда не прекращался, обрёл форму поэтического дуэта – стихотворной переписки в авторских книгах. Юрий подвигнул меня рискнуть сказать о своем происхождении (в «Фамильной истории» – затем написано), утверждая, что поэт обязан выплёскивать из душевных глубин своё сокровенное наружу. По моему обыкновению тогда, на левом берегу Москвы-реки, куда Юрий привёз меня на лодке, я тут же возразила:

– Режиссер Станиславский в беседе с режиссёром Мейерхольдом заявлял, что в искусстве нужно идти от себя. А Мейерхольд уточнял: «От себя, конечно, да как можно дальше...» Разумеется, мы тут же повздорили. Некоторое время я и Юрий двигались по песчаному берегу мимо ивняка в недовольном молчании. Кузнецов уже рассердился на меня за то, что я люблю в поэзии «всяких Мандельштамов», обозвал обожаемого мною Маяковского «сатанинским поэтом» и, указывая на прибрежную траву, произнёс: «Вот, видишь, трава мягкая, а взрывает асфальт. Так и настоящий поэт должен походить

на неё: снаружи поэт должен быть мягким, а по характеру взрывным, энергичным, могучим, каким задумала поэта природа-мать...» Сам Кузнецов действительно был таким. Мы присели на упавшее дерево. Перед нашими глазами в тихой, солнечной реке плескались мальчишки.

– О, знала бы ты, какие милые у меня дочери! – ответил Юрий на мой восторг по поводу купания мальчишек.

Меня это тронуло, и я взглянула на моего спутника. Кузнецов много курил, одну сигарету прикуривая от другой. Он ответил на мой испытующий взгляд характерным кузнецовским взглядом в упор. Был жаркий день августа 1981-го года, поэтому ворот рубахи Юрия был распахнут, а в галстук я вообще его не помню ни по общечитию, где мы знали друг друга с 1967-го года, ни по совместной деятельности в литературе...

Мы сидели на поваленном дереве, вперяясь друг в друга, и некоторое время молчали. Юрий был полон самосознания своего миссионерского служения государству и народу. Его осанка запомнилась мне достоинством и величавостью. Кузнецов имел на это право, – как бы невзначай отметила я про себя и решила быть снисходительнее к его чудачествам и провокационным высказываниям вроде того, что он обыкновенно говорил о женщинах: «Бабу следует держать в узде!.. Женщина – стихия мутная: мыслить не способна. Поэтому женщина призвана природой отражать мужчину, как вода в озере». Так ему было комфортнее жить с этим повсеместно распространенным в России мужским эгоцентризмом и мужским шовинизмом, который позже лукаво именуется евразийством.

Юрий не хотел поступаться привычным мужским комфортом. Поэтому на мой вопрос: знаком ли он с творчеством Лэси Украинки резко ответил: «Не читал и читать не хочу! Все поэтессы делятся на три сорта: истерички, рукодельницы и вообще безликие». Относительно меня, однако, Юрий сомневался в том, что я подхожу под его классификацию – как-то не укладывалось ни в какие рамки то, что Кузнецов слышал на берегу Москвы-реки из моего творчества. Но с удобной ему категоричностью он выпалил: «Всё равно твои литавры мне не нравятся, потому что я против верлибров, я за рифму!»

– Неужели, Юра, ты и впрямь уверен в непогрешимости своих суждений? – взглянула теперь я на Кузнецова в упор. А он на меня. Я продолжала: – Сам посуди: например, тебе не нравится манная каша. Разве каша в самом деле плоха, если тебе не нравится?.. Или тебе не нравится теория Лобачевского потому, что ты не понимаешь её. Разве теория становится хуже от твоего непризнания её?!

– Но поэзию мы создаём для народных масс, – рыкнул было в полемическом пылу на меня Кузнецов, но тут же овладел собой, – поэтому она должна нравиться всем!

– А всем ли нравится твоя поэзия, Юра? Отнюдь, нет. Как и манная каша, как и теория Лобачевского... Есть ещё, знаешь ли, у людей вкусовые пристрастия. Ведь не все люди одинаковы. И нет на свете ни равенства, ни братства, ни других коммунистических приманок... Да и вообще каждый мыслит, как может: например, хоккеисты считают, что Земля имеет форму шайбы!

Кузнецов рассмеялся:

– Про то, что каждый мыслит, как может как-то вспомнилось ни к селу, ни к городу... Женская логика опять-таки... В наш партком заскочила тут одна писательская жена, вопит: «Примите меры! Мой партийный муж дома перестал ночевать, пьёт-гуляет, деньги пропивает, наводит полон дом алкашей и вообще ведёт себя безобразно: покинул меня! Верните мерзавца мне назад в дом!»

Солнце опускалось за горизонт и отражалось в Москве-реке. Уж не помню как, но только разговор зашёл о творчестве философа и поэта Владимира Соловьёва, раннего экумениста. И здесь мы примирились на единстве взглядов: оба оценивали соловьёвское творчество уважительно, с чувством почтения к его «Трем разговорам», но поэзия Соловьёва обоим нам казалась чересчур уж рассудочной, не способной брать за душу.

Кузнецов вертел в руках речной кремень и миролюбиво говорил о диалектичности красоты, о том, что личность поэта является содержанием поэзии, о неземных чувствах и страстях истинного поэта. Масштаб мысли Юрия Кузнецова был нов для русской поэзии, несмотря на всю бессистемность и даже известное азиатское варварство его довольно первобытной натуры. Вот этот широкий масштаб, творческая новизна и ещё пытливость Юрия Кузнецова встречали отклик в моей душе, поскольку мы оба являлись детьми одной эпохи. С любопытством вслушивалась я в интонации голоса Юрия, звучавшего басовито, приглушённо. Он читал свои стихи без поэтических завываний – нормально, довольно прозаично даже, но с силой.

Это действительно был последний поэт Российской Империи. Он был такой, а не иной, как, быть может, хотелось бы кому-то. А Москва на рубеже 70-х и 80-х годов была вождленным для коммуно-славянофилов Третьим Римом русской поэзии, где законно царствовал Юрий Кузнецов. Пусть идея псковского монаха Филофея (16-го столетия), сохранившая надежду на то, что Богоизбранная Святая

Русь будет христианским центром мира, не воплотилась в жизнь да и вряд ли воплотится, всё равно Москва стала Третьим Римом мировой поэзии конца XX-го столетия. Москва явила на рубеже 70-х и 80-х годов уникальное творение духовной культуры – советскую поэзию, синтезировавшую всё лучшее из русской национальной традиции со сверхчеловеческим персонажем – лирическим героем произведений Юрия Кузнецова.

По версии философа Бердяева, как я уже писала, сверхчеловек есть существо более высокого онтологического порядка, чем экстравагантный персонаж у Ницше. И если Юрий Кузнецов повторяет вслед за Ницше неудобоваримые фразы о презрении к женщине, например, то я считаю это неорганичным – наносной пылью на личности поэта. Бердяевский же сверхчеловек есть созидатель, уподобляемый на своём земном уровне Богу-Творцу, поскольку сам творит бытие, творит историю. Поэт Юрий Кузнецов обоснованно считал себя аристократом духа да и в самом деле, если не придирааться к мелочам, был им. Только аристократ русского духа мог увидеть однажды пастуха в поле, слушающего наушники, и сокрушённо вздохнуть: «Россия погибла!»

Что же означала для Юрия Кузнецова гибель России? Это означало неизбежность гибели его самого.

Почему и как произошел мой внезапный разрыв отношений с Юрием Кузнецовым? Помню, что я сделала это без предупреждения о своём намерении: инстинктивно и стихийно. Темнело; я наперекор страху перед безлюдной темнотой выбежала в Филёвский парк, добрела до Кунцевского озера, не освещенного фонарями, и при лунном свете в душевной горячке начала плавать по озеру на плоту, отталкиваясь шестом от вязкого дна.

Я переживала такие чувства, что в моей душе внезапно вдруг они выразились звучанием музыкальных мелодий. К несчастью, я обладала от природы абсолютным музыкальным слухом и цепкой музыкальной памятью, поэтому в момент плавания на плоту во мне поочередно «заиграли» все те музыкальные шедевры, которые за чашкой кофию слушали мы с Юрой вдвоём в моём филевском кабинете во время всех трёх августовских встреч. Музыка звучала во мне целую неделю. Телефон был предусмотрительно выключен – затем, чтоб Юрий не дозвонился. Я включила телефон, кажется, только в конце октября. Мое потрясение от необходимости расстаться выразилось в стихотворении «Музыка во мне» – оно издано в пражском одномомнике моих избранных сочинений «В званьи Поэта». Вот концовка:

*Ах, август – месяц царственный ты мой!  
Корону мне на муки дал, забавясь.  
Но Бах, но Шуберт, но Шопен живой  
И тот, кого назвать я не решаюсь...*

Философ Зиновьев в книге «Распутье» обращается к спасателям Отечества:

«Говорят, будто в России есть силы, способные спасти её от полного краха и вновь поднять Россию на уровень великой державы... Какие силы? Где они? Дремут? Так они продремлют еще 300 лет! Скрыты ли эти спасительные силы? Так они и останутся навек скрытыми».

Славянофильский лагерь, призванный национальной природой своего существования ко спасению Отечества, раздробился на враждующие группировки вместо того, чтобы все пальцы одной руки – десницы – сжать в единый кулак.

Но встал во весь рост перед нашими недружными рядами Юрий Кузнецов, поднял русское знамя над собой и призвал к равнению:

*Я – знамя! Вожди подо мною.  
Во славе, крови и пыли  
Клянутся моей высотой  
Все рати небес и земли.  
Я кровь высоко поднимаю,  
Но тень я земле отдаю  
И прежде земли покрываю  
Погибших во славу мою.*